

АНТОН СЕЛИВЁРСТОВ



ТУШЁНКА
ОСОБАЯ

18+

АНТОН Селивёрстов
Тушёнка. Особая.

«Автор»

2026

Селивёрстов А.

Тушёнка. Особая. / А. Селивёрстов — «Автор», 2026

Москва, 1960-е. Капитан ОБХСС Артём Рябинин, фронтовик-сапёр с протезом вместо ноги, находит на складе странную банку тушёнки. Она тёплая. Она пульсирует, будто внутри бьётся сердце. И она не желает исчезать из его жизни, даже когда он пытается от неё избавиться. Расследование приводит Рябинина туда, где кончается здравый смысл и начинается магия. В очередях за дефицитом стоят мёртвые души. На рынках ведьмы торгуют не только травами. Гильдия обменов заправляет чудесами. А спецотдел КГБ классифицирует необъяснимое по классам опасности — и открывает охоту на всех, кто знает слишком много. Где-то в промёрзшем бункере под Измайловским парком пробуждается Морана — древняя богиня застоя. Она питается желаниями, которые никогда не сбудутся. И если Рябинин не остановит её, Москва уснёт навсегда. Мрачный магический реализм, советский нуар и мифологический детектив — в романе «Тушёнка: Особая».

© Селивёрстов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА 1. БАНКА	5
ГЛАВА 2. ОЧЕРЕДЬ	7
ГЛАВА 3. АВОСЬКА	9
ГЛАВА 4. ЗИНАИДА	11
ГЛАВА 5. КОММУНАЛКА	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Антон Селивёрстов

Тушёнка. Особая.

ГЛАВА 1. БАНКА

На складе воняло так, что хотелось сразу выйти. Карболка, бумажная пыль, а ещё кислота — будто где-то в углу гнила картошка. А может, что похуже. Рябинин уже месяц собирался проверить, да руки не доходили. Руки вообще до многого не доходили в последнее время.

Он стоял перед стеллажом и тёр ладони. Холодно. Отопление дали по норме — то есть включили и забыли. Протез ныл, и боль была такая, знакомая, тупая, как зубная, только где-то в кости. В сорок пятом он мог сутки идти по болоту. Теперь — час по складу, и нога отнимается. Рябинин переступил с ноги на ногу. Протез скрипнул.

Тушёнка была изъятая. Месяц назад на Тушинском рынке взяли целую партию — ящик. А в ящике половина банок левые. Сопроводительные документы липовые, штампы поддельные. Но кто подделал? И куда делась остальная часть груза? Начальник тогда разошёлся не на шутку, кричал, брызгал слюной и тыкал пальцем в таблицу раскрываемости. Рябинин молча стоял, слушал и кивал, а сам думал: «Дайте мне время. Просто дайте время». Ему дали месяц. Этот месяц уже кончился.

Он вздохнул и начал перебирать банки. Холодные. Все как одна. «Говядина тушёная». Этикетка, штамп, дата. Следующая. Ещё одна. Пальцы занемели. Он подышал на ладони и вдруг замер. Одна банка была тёплой.

Не нагретой от батареи — батарея еле дышала. Не от солнца — солнца не было вторую неделю. Тёплой, как живая. Рябинин отдернул руку, потом снова взял. Точно тёплая. И не просто тёплая — ритмично пульсировала, будто внутри билось сердце. Маленькое такое, мышинное.

«Дожил, — подумал он. — Банки уже живые». Улыбнуться не вышло. Вместо улыбки холодок пробежал вдоль позвоночника — быстрый, острый, как тогда, на фронте, когда он щупом водил над землёй и чувствовал мину. Тогда мина была железная. А эта — жестянка с тушёнкой. И непонятно, что страшнее.

Он поднёс банку к глазам. Этикетка наклеена с едва заметным смещением. Миллиметр. Будто переклеивали. Он провёл ногтем по шву — ровный, заводской. Странно. Обычно левак клеят криво. На поверхности — капли конденсата, хотя банка была целая и на складе стояла сухость. Металл потел. От этого пульса. Рябинин повертел банку, как когда-то вертел мину, найденную под Можайском, — с тем же чувством: вот сейчас рванёт.

Рябинин поставил банку отдельно, к вещдокам, и пошёл в кабинет.

В кабинете пахло табаком — дешёвым, горьким. На стене висел отрывной календарь, и на нём всё ещё был октябрь, хотя дело шло к середине ноября. Никто не перелистнул, и он тоже не стал. Он сел за стол, расстегнул шинель, потёр культю через брючину. Боль не уходила. Она пульсировала в такт теплу, которое он всё ещё чувствовал в ладони, хотя банка осталась на складе. Или не осталась?

Он посмотрел на стол. Банка стояла рядом с кружкой, в которой плавала муха.

Он не помнил, как принёс её сюда. Не помнил, чтобы брал в руки после того, как поставил к вещдокам. Но вот она — тёплая, мокрая от конденсата, с чуть съехавшей этикеткой. Он протянул руку и коснулся жести. Пульс. Внутри что-то билось.

Рябинин отдернул пальцы и закурил. Руки дрожали — не от холода. Он затыкнулся горьким дымом, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. В голову лезли ненужные мысли. На

фронте тушёнку делили на десятерых. Хорошая была, американская, жирная. Не то что эта. Тогда всё было проще: вот враг, вот свои. А теперь?..

Он затушил папиросу, сунул банку в карман шинели — и отдёрнул руку. Банка была не просто тёплой. Она дышала. Ритм — медленный, тяжёлый, как у раненого зверя. Рябинин перекрестился. В первый раз за двадцать лет. И вышел из кабинета.

Склад опустел. Артем гасил лампы — одну за другой. В коридоре горела единственная тусклая лампочка, засиженная мухами. Он шёл к выходу: шаг, стук протеза, ещё шаг. Под здоровой ногой бетон молчал, под протезом — глухо стучал, как по дереву. Эхо разносило звуки по пустым помещениям. В конце коридора он замедлил шаг.

Почувствовал взгляд.

Старая фронтовая привычка — замирать, когда на тебя смотрят. Рябинин остановился, обернулся. Темнота. Никого. Но воздух изменился — появился лёгкий запах озона, как после грозы. И в темноте что-то шевельнулось. Не человек — сгусток воздуха, уплотнение мрака.

Рябинин задержал дыхание. Рука сама потянулась к поясу, где когда-то висела кобура. Сейчас там было пусто. Ногу дёрнуло резкой болью — до искр в глазах. Банка в кармане стала теплее, словно отозвалась на чьё-то присутствие.

— Ерунда, — сказал он вслух. Голос прозвучал глухо, без уверенности.

Он постоял ещё минуту, потом толкнул дверь на улицу.

Мокрый снег ударил в лицо. За воротник потекли холодные капли. Рябинин втянул воздух, сжимая банку в кармане. За спиной хлопнула дверь. Он не обернулся.

Если бы он обернулся, то увидел бы, как в тёмном окне склада на миг загорелся и погас огонёк. Никто не чиркал спичкой. Огонёк был синим, негреющим — таким, каким горит газ на кухне. Кто-то стоял там, в темноте, где Рябинин только что вглядывался в пустоту. Кто-то затянулся папиросой.

ГЛАВА 2. ОЧЕРЕДЬ

У гастронома на Таганке очередь собирали ещё в темноте. К семи утра она разрослась человек до сорока и шумела, как разворошённый улей. Пахло мокрыми валенками, кислой капустой из подвала и дешёвым табаком. С неба сыпалась то ли снежная крупа, то ли дождь — мёрзлая, липкая слякоть. Рябинин поднял воротник шинели, прикурил и встал в хвост.

Он был в штатском. Старое драповое пальто, ушанка, потёртый шарф — он забыл его завязать как следует, и конец волочился по плечу. Артем заметил это только сейчас, сунул шарф под воротник и подумал, что выглядит, наверное, как побитый жизнью командировочный.

Очередь жила своей жизнью. Она вздыхала, кашляла, топталась на месте, словно одно большое существо. Впереди шептались, что «выбросили» финскую колбасу, но на всех не хватит. Женщина в сером платке зло шипела: «Я с пяти стою, с пяти! А эта, — она кивнула на старуху у дверей, — вообще с ночи тут». Старуха молчала. Стояла как вкопанная и крепко держала авоську. Косточки пальцев побелели. Мальчик лет семи стоял рядом с ней, с бидоном. Бидон был ему по колено.

— Мам, а сахар ещё дадут? — спросил мальчик, ни к кому не обращаясь.

— Молчи, — сказала женщина в сером платке. — Много хочешь — мало получишь.

Рябинин двинулся вдоль очереди и негромко показывал удостоверение. Он расспрашивал про тушёнку, про прошлую неделю, про странных людей, которые крутились возле гастронома. Отвечали ему неохотно, больше жалуясь на свою долю. Никто ничего толком не видел. Да, тушёнку брали. Да, «Особую». Да, вкусная, жирная. А кто привёз — чёрт его знает. Одна бабка сказала — Кривой. И перекрестилась. Больше от неё ничего не добились. Соседка зашипела: «Тише ты, старая, уши есть везде». Бабка замолчала.

Рябинин уже собрался уходить, как вдруг заметил его.

Мужик стоял примерно посередине очереди, но вместе со всеми не двигался. Вокруг люди шевелились, толкались, бранились, а он будто врос в землю. Одет бедно, но опрятно: поношенное драповое пальто и ушанка, вся в каких-то кармашках. Эти кармашки топорщились и, похоже, даже шевелились. Один кармашек приоткрылся — внутри что-то блеснуло. Не монета. Не стекло. Как будто фотография. Крошечная, чёрно-белая. Рябинин моргнул. Нет, не показалось — ещё один кармашек дёрнулся, будто там сидела мышь.

Он отвёл взгляд. Когда посмотрел снова — мужик уже стоял к нему спиной. И говорил. Не оборачиваясь.

— Товарищ капитан, — сказал он тихо, подстраиваясь под гул очереди. — У вас сахар в кармане. И банка. Две. Одна тёплая.

Рябинин замер. Он себя не называл. Удостоверение было в руке, но он его не светил — мужик стоял спиной. Оперская привычка: если информатор знает больше, чем ты ему сказал, — ты уже в проигрыше. Во рту пересохло. Банка была в кармане. И сахар. Откуда?

— Откуда вы знаете, кто я?

Мужик наконец обернулся. Лицо вроде молодое, но какое-то стёртое, размытое. Черты будто ускользали, и как Рябинин ни вглядывался, запомнить его не выходило. Глаза тоже были странные: один карий, другой зеленоватый, как тина.

— Я сборщик. Собираю слухи и желания. — Он усмехнулся, но вышло это криво и мёртво. — А вы, товарищ капитан? Чего хотите вы?

Рябинин молчал. Ему нужно было отыскать Мишку. Нужно было понять, что за чёрт творится с этой тушёнкой. И ещё хотелось, чтобы протез наконец перестал ныть. Но говорить об этом он не собирался.

— Я хочу узнать, откуда взялась «Особая» тушёнка.

— Нет, не то. — Сборщик покачал головой. — Не то. Вы хотите, чтобы ваш друг Мишка был жив. И он жив. Пока что.

Сборщик склонил голову к плечу, и кармашки на его шапке разом приоткрылись. Оттуда пахло — гнилой картошкой, но не просто гнилью, а чем-то более древним: могилой, торфом, вечной мерзлотой.

— Ты уже мёртв, капитан. Просто забыл. — Он улыбнулся. — Скоро вспомнишь.

Рябинин бросился к нему, но схватил только воздух. Сборщик исчез. Не ушёл и не растворился — просто пропал, будто его тут никогда и не было. Лишь шапка мелькнула где-то в толпе, да на секунду в воздухе будто потянуло озоном.

— Гражданин, — окликнула его старуха, что стояла рядом. Голос был скрипучий, но не злой. — Вы кому это?

Рябинин обернулся. Старуха смотрела на него — и на пустое место рядом с ним. Брови сошлись в морщинистую складку.

— Тут никого не было, — сказала она. И перекрестилась.

В хвосте очереди стоял мужик. Обычный — телогрейка, шапка-ушанка. В руке он держал банку «Особой». Не прятал. Стоял и улыбался. Люди обтекали его, как вода камень, — никто не толкал, никто не замечал. Рябинин моргнул — мужика не было. Только снежная крупка покружила на том месте и легла.

Люди вокруг как стояли, так и стояли, ворчали, курили. Никто ничего не заметил.

Рябинин застыл, глядя на пустое место. Пальцы дрожали, но он заставил себя успокоиться. Достал из внутреннего кармана блокнот, огрызок карандаша и принялся зарисовывать шапку сборщика. Криво, как умел. Торопливо, пока детали не выветрились из памяти. Может, пригодится.

Пока Рябинин рисовал, в очереди мелькнул кто-то в штатском. Высокий, сухой, в хорошем пальто. Спросил у продавщицы про тушёнку, не дожидаясь ответа — ушёл. Продавщица перекрестилась. Рябинин поднял голову, но человек уже растворился в снежной крупе. Только запах остался — едва заметный, как от мокрой собаки.

Рябинин развернулся и пошёл от гастронома прочь. За спиной гудела очередь. Под протезом хрустнула ледяная крошка. Он сунул руку в карман, нащупал жестянку. Холодная. Он не оставлял её дома. Или оставлял. Может, банка просто лежала там всё это время. А может, и нет. Он выругался сквозь зубы и зашагал быстрее, сам не понимая, куда идёт.

Он подумал: «Они стоят не за колбасой. Они стоят за обещанием, что колбаса будет. Морана не придумала очередь — она научилась её доить».

ГЛАВА 3. АВОСЬКА

Рынок у Киевского вокзала шумел так, что закладывало уши. Торговки орали про мандарины и югославские сапоги, мужик с жаровни зазывал на пирожки с ливером, где-то в углу хрипел патефон — то ли Вертинский, то ли кто-то очень на него похожий. Пахло рыбой, гнилыми овощами, мокрым асфальтом и дымом. Снег с дождём месился под ногами в серую кашу. Рябинин перешагнул лужу, в которой плавал окурок, и пошёл вдоль рядов.

Он искал старуху. Авдотью с Ленинградского — так её назвали свидетели. Торгует травами, мазями, какими-то мешочками. И, по слухам, знает про «Особую» тушёнку. Рябинин уже час брёл между лотков, высматривая седую голову в платке. Нога ныла всё сильнее, отдавая в поясницу. Он морщился, но шаг не замедлял.

Старуху он нашёл в углу рынка, у забора. Она сидела на раскладном стульчике, куталась в сто одежек и торговала с лотка сушёными травами. Пучки, баночки, мешочки. Пахло мятой и чем-то горьким — не то полынью, не то ещё какой дрянью. Рябинин подошёл, кашлянул и показал удостоверение.

— Капитан Рябинин, ОБХСС.

Старуха подняла подбородок, внимательно прошла по нему взглядом. Задержалась на протезе. Потом — на кармане, где лежала банка.

— Ты к Зинаиде иди, капитан. Чайная «Уют» на Пресне. Через неё передай Мишке Кривому: сборщики на Пресне опять проходу не дают. — Она сплюнула в сторону. — А от меня отстань. Я травами торгую. Пока это не запрещено. А если запретят — уйду. Мне не привыкать.

— А магия? — тихо спросил Рябинин. — Её ведь тоже пока не запретили? Старуха усмехнулась, не оборачиваясь.

— Магия, говоришь... Двадцатый век на дворе, капитан. Скоро коммунизм. Какая тут магия? Ты бы лучше за спекулянтами следил, а не к старухам цеплялся.

Рябинин не успел ответить. К лотку подвалили трое — в кожаных куртках, шапках-пирожках. Тот, что с печаткой, упёрся ладонями в доски и наклонился к старухе.

— Слышь, бабка. Ты тут третий день торгуешь, а долю не платишь. Непорядок.

— Я никому ничего не должна, — отрезала она.

— Должна-должна. За место, за воздух, за то, что мы тебя не трогаем. Давай сюда выручку. И травы свои в придачу.

Рябинин шагнул вперёд, положил руку на плечо тому, что с печаткой.

— Гражданин, отойдите. Здесь идёт опрос.

Печатка обернулся, смерил его взглядом.

— А ты кто такой? Милиция? Иди куда шёл. Тут не твоё дело.

— Моё, — сказал Рябинин, но старуха его опередила.

Старуха встала. Выхватила авоську. Взмахнула — как кнуром.

Воздух схлопнулся.

Рябинина ударило в грудь горячей волной. Протез подломился. Рухнул на одно колено.

Спекулянтов разбросало в стороны. Тот, что с печаткой, пролетел метра два. Врезался в лоток с кастрюлями.

Кастрюли покатались. Загрохотали. Толпа заорала. Кто-то кричал «Милицию!», кто-то просто визжал.

Рябинин проморгался. В ушах звенело. Он заставил себя встать и осмотреть место. Следы. Снег примят. Забор — два метра. Не перепрыгнуть. Особенно старухе в ста одежках. «Не знаю, что это было, — подумал он. — Но это было. И это не фокус».

Старуха исчезла. На снегу, где только что стояла старуха, остался след. Не человеческий. Волчий. Или собачий — но откуда на рынке волк? След тянулся к забору и там обрывался, будто зверь прыгнул через него и ушёл в небо.

Авоська лежала на снегу — дымилась, ячейки плавилась и скручивались, рассыпались в пепел. Только мандариновая корка осталась — тёплая, чуть светящаяся по краям, как шашка после взрыва. Рябинин поднял её. Сунул в карман. Банка в кармане молчала. Только холодно давила на бедро.

Спекулянты копошились в грязи, матерясь. Тётка с мандаринами уже снова орала про югославские сапоги. Как будто ничего не было.

Рябинин привалился к забору и закурил. Пальцы дрожали. За забором, в проулке, что-то хрустнуло. Он обернулся — слишком поздно. Только тень. Крупная. Волчья. Припадающая на переднюю лапу. Исчезла за углом.

Авдотья заплатила. Не сахаром. Собой.

Он докурил, отлепился от забора и уже собрался уходить, как кто-то тронул его за локоть. Парень в милицейской форме, почти мальчишка, протянул сложенную бумажку.

— Товарищ капитан, Авдотья просила передать. Зинаида ждёт в чайной на Пресне. Скажите — по сахару.

Рябинин развернул записку. На клочке тетрадной бумаги корявым почерком было выведено: «Чайная Уют, Пресненский вал, 14. Спросить Зинаиду. По сахару».

— Кто просил? — спросил он, но парня уже не было.

Артем спрятал записку в карман и зашагал к выходу с рынка.

ГЛАВА 4. ЗИНАИДА

Чайная «Уют» пряталась в полуподвале на Пресне, и уюта в ней было ровно столько, сколько тепла в ноябрьском сквозняке. Рябинин спустился по стёртым ступеням, пригибая голову — свод висел низко, как в блиндаже. Пахло заваркой, сахаром, мокрой шерстью и чем-то кисловатым — не то капустой, не то старыми обоями. Под потолком гудела лампа дневного света, засиженная мухами. Мухи не жужжали — они спали, одурев от тепла и полумрака.

Зинаида сидела в углу, за столиком с клеёнкой в цветочек. Женщина лет пятидесяти, в пуховом платке, накинутом на плечи. Под ногтями — тёмный ободок, ввевшийся намертво. Чайный завар. Она с ним жила уже много лет и не замечала. Перед ней стояли два стакана чая в подстаканниках и блюдце с колотым сахаром. Она не пила — ждала. И смотрела прямо на Рябинина, будто знала, что он войдёт именно сейчас.

— Садитесь, товарищ капитан. Чай стынет. А я не люблю холодный.

Он сел, вытянул ногу. При Зинаиде можно было не притворяться. Потёр культу через брючину. Не помогло. Табуретка скрипнула, боль прострелила от бедра к поясице.

Зинаида посмотрела на него. Не на лицо — на карман, где лежала банка. Взгляд был тяжёлый, знающий.

— Вы Зинаида?

— Она самая. А вы по сахару пришли или по делу?

— По делу. Тушёнка «Особая». Что знаете?

— Ты зачем банку с собой таскаешь, капитан? Думаешь, если в кармане, то не на виду?

— Она отхлебнула чай. — Ты на неё всю нечисть в округе, как мотыльков на свет, собираешь. И себя подставляешь, и Мишку.

Рябинин помолчал. Потом кивнул на карман.

— Она сама. Я пробовал оставить — возвращается.

— Значит, привязалась. — Зинаида тяжело выдохнула. — С этой тушёнкой я уже год мучаюсь. Попробуют — и возвращаются. Трясутся, просят ещё. Как привязанные.

— Привязанные к чему?

— Вот и я не знаю. И знать не хочу. — Она отхлебнула чай, поморщилась — остыл. — У меня сын в Магадане сидит. По глупости. Я ему передачи шлю через Гильдию. А они просят плату — информацией. Вот и кручусь.

Зинаида замолчала, будто сама удивилась, что сказала лишнее. Отвернулась к окну. За окном ничего не было — только серый снег.

Она взяла кусок сахара с блюдца. Не подвинула — уронила. На пол. Сахар покатился в тёмный угол, под стеллаж с чайниками.

Из темноты метнулась тень. Маленькая, быстрая. Бледные пальцы — человеческие, но слишком длинные, с суставами не в те стороны. Схватили сахар. Исчезли.

Рябинин отдёрнул ногу. Протез стукнул о ножку стола.

— Видал? — Зинаида даже не обернулась. — Раньше людьми были. Теперь сахар воруют. И таких всё больше.

Она взяла другой кусок с блюдца и протянула ему.

— Держи. Этот — для дела. А тот, — она кивнула в угол, — уже отработан.

Рябинин взял сахар. Кусок был твёрдый, ноздреватый, и на изломе поблёскивал, как слюда. Он сунул его в карман — и сахар лёг рядом с банкой. Банка на мгновение потеплела, будто узнала соседа. Рябинин просто закрыл карман.

— Ещё вопрос, — сказал он. — Мишка. Михаил Кривой. Знаешь такого?

Зинаида усмехнулась. Усмешка вышла кривая, но не злая — скорее, понимающая.

— Знаю. Хозяин обменов. Большой теперь человек. Только ты ему не говори, что от меня пришёл. Он старых долгов не прощает.

Рябинин вспомнил: коммуналка, зима сорок седьмого. Он стоял у окна босиком — ботинки порвались, а новых не было. Мишка вошёл, глянул на его ноги, снял свои ботинки и поставил перед ним. «У меня ещё валенки есть», — сказал. Врал. Не было у него валенок. Пошёл домой босиком по снегу. Рябинин хотел вернуть ботинки, но Мишка уже закрыл дверь.

— Он жив? — спросил Рябинин.

— Жив. Пока. Но если ты не прекратишь светить эту банку, — она кивнула на его карман, — то и он долго не протянет. И ты вместе с ним.

— Я передам. От Авдотьи. Сборщики на Пресне проходу не дают.

Зинаида кивнула. Встала.

— Всё, капитан. Больше ничего не скажу. Не потому что не хочу — потому что сама не знаю. А что знаю — тебе не поможет.

— Ладно, — сказал он и встал. — Спасибо за чай.

— Я его даже не заварила.

— Я знаю.

— Вот и приходи. Когда совсем прижмёт — заварю.

Он вышел на улицу. Ветер пробирал до костей, задувал за воротник, леденил шею. Рябинин поднял воротник шинели и зашагал в сторону дома. В кармане лежали три тёплых предмета. Он не знал, что с ними делать. Зашагал быстрее.

ГЛАВА 5. КОММУНАЛКА

Дом встретил его запахом шей и жареного лука. В парадном пахло кошками, на лестнице — сыростью, а в коридоре коммуналки — всем сразу: щами, луком, хлоркой из туалета и чужим табачным дымом. Рябинин поднялся на третий этаж, тяжело опираясь на перила. Нога после рынка разболелась не на шутку — каждое движение отдавалось в позвоночник тупым эхом. Он остановился на площадке, перевёл дух. Из-за ближайшей двери орал младенец, из дальней — радио: «Маяк», сводка о перевыполнении плана. Между ними, в середине коридора, супруги выясняли отношения на повышенных тонах. Кто-то кому-то не купил сапоги. Или купил, но не те. Рябинин не вслушивался. Это был обычный вечер. Обычный шум. Он прошёл в свою комнату и закрыл дверь.

В комнате было холодно. Окно запотело, на подоконнике стояла засохшая герань — он забывал её поливать уже вторую неделю. Или третью. Кровать, стол, стул, шкаф с оторванной ручкой. Патефон без пластинок. Он разделся, повесил шинель на крючок, сел на кровать и стянул сапог. Потом расстегнул ремни протеза. Культия была красная, воспалённая. Он потрогал её пальцами — горячая. «Ерунда, — подумал он. — До свадьбы заживёт». Свадьбы у него не было уже тридцать лет.

Он достал банку и поставил на стол. Рядом положил мандариновую корку — она всё ещё была тёплой и чуть светилась по краям. Он полез в карман за папиросами. Закурил. Дым поплыл к потолку.

«Потом разберусь», — подумал он и откинулся на подушку. Веки налились свинцом. Он уже почти провалился в сон, когда почувствовал, что в комнате кто-то есть.

Не услышал. Не увидел. Именно почувствовал — как чувствуешь сквозняк от неплотно прикрытой двери, только этот сквозняк был тёплым и пах пылью и старым деревом. Он открыл глаза и сел.

В углу, у шкафа, стоял старик.

Маленький, в застиранной жилетке, с седой бородой и грустными глазами. Он перебирал бахрому скатерти и смотрел на Рябинина с выражением, которое бывает у старых квартирных хозяек, когда новый жилец начинает портить имущество.

— Ты кто? — спросил Рябинин. Рука сама потянулась к ящику стола, где лежал табельный. — Как вошёл?

— Я Афанасий, — сказал старик. Голос у него был тихий, как шелест страниц. — Домовой. Я здесь всегда жил. Ещё до революции. Ты меня просто не замечал.

Рябинин потёр глаза. Домовой. Ему пятьдесят два года, он капитан милиции, фронтовик, орденоседец, а в углу его комнаты стоит домовый и перебирает бахрому.

— Я не пил, — сказал он вслух. — Третий день не пил.

— Знаю, — кивнул Афанасий. — И это хорошо. Потому что разговор серьёзный.

— Это про банку? — Рябинин кивнул на стол.

— Про неё. Она от Мораны. Морана старше твоей партии на тыщу лет. Ты уже заглотил.

Рябинин молчал. Крыть было нечем.

— Ты здесь всегда жил?

Афанасий кивнул.

— Почему молчал?

— Я почуял её, только когда ты в дом вошёл. — Афанасий кивнул на банку. — Раньше она себя не проявляла. А теперь поздно предупредить, теперь спастись надо.

— Что делать?

— Выброси банку. Хотя нет, — Афанасий вздохнул, сбавил тон. — Поздно. Она к тебе привязалась. Теперь только сжечь. Или утопить в святой воде, но где ты её возьмёшь в Москве?

Рябинин молчал. Домовой говорил дело. Или бред. Он уже не понимал разницы.

— Вот что, — сказал Афанасий и полез в карман жилетки. — Возьми ключ.

Он протянул его — большой, старинный, с узором-лабиринтом на бородке. Ключ был тёплый, как кожа живого человека, и пах старым деревом — так же, как Афанасий.

— Это ключ от твоей комнаты, но не простой. Пока он висит на гвозде у двери, никто не войдёт. Ни человек, ни нечисть. Повесь. Мне он больше не понадобится.

— А ты?

— А я здесь останусь. Я ж домовый. Мы не уходим. Мы просто перестаём быть, когда дом умирает. Твой дом пока жив. Жив, пока ты в нём.

Рябинин взял ключ. Тот лёг в ладонь, как влитой. Он подошёл к двери, вбил гвоздь — молотка не было, пришлось рукояткой ножа, — повесил ключ. Тот качнулся, блеснул медным боком и замер. Тепло от него пошло по стене, как круги по воде. Рябинину показалось, что в комнате стало заметно теплее.

— Если беда придёт, — сказал Афанасий тихо, — ключ поможет. Но цена будет. Всегда цена.

— Какая?

— Узнаешь, когда время придёт. Спи пока.

Домовой растаял в углу, и только запах пыли и старого дерева ещё держался в воздухе. Рябинин лёг, не раздеваясь, и закрыл глаза. Банка на столе чуть светилась в темноте. Мандариновая корка перестала светиться.

Сон пришёл тяжёлый, вязкий, полный обрывков воспоминаний. Ему снился отец на вокзале. Он махал рукой, но лицо его было размыто, как старое зеркало.

Проснулся он от холода. Окно было закрыто, но по комнате гулял сквозняк. Рябинин сел, спустил ноги на пол — и замер. Входная дверь была приоткрыта. На полпальца. Ключ висел на гвозде, холодный и мёртвый, но дверь была открыта. Кто-то вошёл. Или вышел.

Он встал, доковылял до двери, выглянул в коридор. Пусто. Только радио бормотало за стеной и капала вода на кухне. Он закрыл дверь, запер на задвижку, привалился к косяку. Сердце колотилось где-то в горле.

На столе банка больше не светилась. Но лежала не там, где он её оставил. На пол-ладони левее. Рябинин готов был поклясться, что клал её у корки. Теперь банка стояла у края стола.

Кто-то был в комнате, пока он спал. Кто-то, для кого ключ Афанасия — не преграда.

Он подошёл к окну. На стекле, с внутренней стороны, распускался морозный узор. В комнате было плюс двенадцать. Узор не таял. Палец сам потянулся к стеклу — и отёрнулся. Холод был такой, что обжигал даже на расстоянии. Рябинин задёрнул штору и отошёл к столу.

Стук в дверь. Три коротких, уверенных удара — так стучат люди, которые привыкли, что им открывают сразу и без вопросов.

— Кто? — спросил Рябинин. Голос был ровным, хотя сердце всё ещё колотилось где-то в горле.

— Полковник Вараксин. Откройте, капитан. Разговор есть.

Имя он слышал. Вараксин ведал в их управлении какими-то особыми делами — то ли проверками, то ли режимными объектами. Ходили слухи, что он из смежного ведомства и подчиняется не совсем московскому начальству. Рябинин отодвинул задвижку и открыл дверь.

Он стиснул зубы. При Вараксине нельзя хромать. Нельзя тереть культю. Нельзя показывать, что больно.

На пороге стоял высокий, сухой человек в штатском — хорошее пальто, каракулевая шапка. Лицо узкое, с резкими складками у рта. Глаза светлые, почти жёлтые, как у волка. В комнате на секунду запахло мокрой шерстью. Он вошёл, не дожидаясь приглашения, оглядел комнату — стол, кровать, банку на столе — и сел на единственный стул.

— Вы позволите? — спросил он, уже сидя.

Рябинин закрыл дверь, опёрся спиной о косяк. Стоять было удобнее — в случае чего можно быстро сместиться.

— Слушаю, товарищ полковник.

— Слышал, вы тушёнкой занимаетесь. «Особой». Интересное дело. — Вараксин достал портсигар, щёлкнул крышкой, но закуривать не стал — просто вертел папиросу в пальцах. Пальцы были длинные, сухие, с аккуратным маникюром. Не похожие на руки военного. — Расскажите, что нашли.

Рябинин рассказал — не всё. Про банку сказал, про необычное качество продукта, про возможное хищение. Про сборщика, авоську и Зинаиду — ни слова.

Вараксин слушал, не перебивая. Потом кивнул каким-то своим мыслям.

— Дело забираю себе. С завтрашнего дня работаете со мной.

— На каком основании?

— На том, что вы уже сутки носите в кармане магический артефакт четвёртого класса опасности и до сих пор живы. — Он наконец закурил, выпустил дым в потолок. — Четвёртый класс — предмет, отбирающий волю при контакте. Третий — при употреблении внутрь. Второй — создающий зону поражения. Первый мы пока не встречали. А обычно после контакта с такими предметами люди долго не живут. Значит, у вас иммунитет. Или удача. Мне пригодится и то и другое.

Рябинин молчал. Четвёртый класс опасности. Магический артефакт. Слова были чужие, казённые, но полковник произносил их так же буднично, как другие говорят «план по раскрываемости».

— Я не верю в магию, — сказал Рябинин.

— Я тоже, — Вараксин улыбнулся, и улыбка вышла неприятная — слишком много зубов. — Но это не мешает ей существовать. Жду вас завтра к девяти. Лубянка, третий подъезд. Пропуск закажут.

Он встал, одёрнул пальто, шагнул к двери — и вдруг остановился, обернулся. Взгляд упал на ключ, висящий на гвозде. Вараксин протянул руку, почти коснулся меди, но пальцы замерли в миллиметре.

— Хорошая вещь. Домовой подарил?

Рябинин не ответил.

— Берегите. — Вараксин отдернул руку. — Завтра в девять.

И вышел, притворив за собой дверь.

Утром, когда Рябинин проснулся, на столе лежала фотография. Своя. Довоенная. Он стоит с отцом на перроне — молодой, без протеза, улыбается. У него обе ноги. Он не помнил, чтобы делал этот снимок. Перевернул. На обороте детским почерком выведено: «Ты не помнишь?» Рябинин потёр глаза. Фотография была старой, выцветшей, но надпись казалась свежей, будто её написали минуту назад.

Он сунул фото в карман и пошёл умываться.

На полу, у порога, лежал жёлтый лист герани. Сухой, скрученный. С его подоконника. На нём — след подошвы. Чёткий, рубчатый.

Вараксин вошёл не через дверь. Или вошёл, но ключ Афанасия его не остановил. Или — он уже был внутри до того, как ключ повесили.

Рябинин поднял лист. Сжал в кулаке. Тот рассыпался в пыль.

Банка на столе потухла. Ключ на гвозде был холодным. Полковник знал про домового. Знал про ключ. И говорил о магии так, будто заведовал ею, как складом.

«Жду завтра к девяти». Как будто у него был выбор

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.